

**Надежда Александровна Лухманова**

# **Девочки**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Н17

**Надежда Александровна Лухманова**  
Н17 Девочки / Надежда Александровна Лухманова – М.: Книга по Требованию, 2012. – 150 с.

**ISBN 978-5-4241-1385-7**

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) - писательница (1840 - 1907). Напечатано: "Двадцать лет назад", рассказы институтки ("Русское Богатство", 1894 и отдельно, СПб., 1895) и "В глухих местах", очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом "Белокриницкий архимандрит Афанасий") и др. Переделала с французского несколько репертуарных пьес: "Мадам Сан-Жен" (Сарду), "Нож моей жены", "Наполеон I" и др.

**ISBN 978-5-4241-1385-7**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Надежда Александровна  
Лухманова  
ДЕВОЧКИ



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## РАМКА ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

### I

#### Няня

"Человеческое счастье лежит в светлых воспоминаниях детства".

Если мне не изменяют мои детские воспоминания, то в конце царствования императора Николая I Павловский кадетский корпус помещался там, где впоследствии было Константиновское училище, а теперь находится артиллерийское (ныне Московский пр., 17.) Я родилась в этом здании и провела в нем свое раннее детство; в памяти моей навсегда сохранилось впечатление очень больших комнат, широких нескончаемых коридоров, громадных лестниц - словом, ощущение простора, широты, высоты и света. То же самое встретило меня и в Павловском институте, куда я поступила восьми лет, и это привило мне на всю жизнь потребность свежего и холодного воздуха; в маленьких теплых комнатах я задыхаюсь и начинаю тосковать, даже мыслям моим становится тесно, и я ощущаю какое-то нервное беспокойство.

Отец мой, полковник в отставке, был экономом Павловского корпуса и Павловского же института для благородных девиц. Как смотрел он на такую "выгодную" тогда службу, имел ли много побочных доходов - не знаю! Я слышала, что отца очень любили все: и офицеры, его товарищи по службе, и кадеты - и что при нем не было ни "кашных", ни "кисельных" бунтов.

История этих "возмущений", за которые и был смещен предшественник отца, так часто рассказывалась в нашей семье, что мне казалось долго, будто я сама присутствовала при том, как кадеты, возмущенные тем, что слишком часто к ужину получали гречневую размазню на воде, почти без масла, решились наконец отомстить эконому. Заговорщики явились в столовую с мешочками и фунтиками, свернутыми из толстой бумаги, и, наполнив их кашей, спрятали в карманы. Пользуясь тем, что из столовой, находившейся в отдельном флигеле, приходилось идти в дортуар мимо квартиры эконома, они сложили всю эту кашу грудой у его двери. Проходивший в последней паре дернул звонок; дверь отворил сам эконом, поскользнулся на размазне и чуть не скатился вниз по лестнице.

Так ли случилась эта история - не знаю, но такую именно она представлялась моему воображению, такой я рассказывала ее всегда в институте, с восторгом представляя себе эконома, сидящего на жидкой размазне.

Кисельный бунт выразился в том, что кадеты не притрагивались к этому блюду в течение целой недели, а эконом, ведя с ними борьбу, каждый день угощал их киселем.

Отец, наверно, кормил кадетов порядочно. У него в Павловском корпусе воспитывались три племянника, которые впоследствии, когда приходили навещать меня в Павловский институт, с гордостью заявляли мне, что их никогда не били за дядю, а корми он худо, им так намяли бы бока, что - у!!!

Жила моя семья, должно быть, весело и шумно. Когда я вызываю свои самые ранние воспоминания, в памяти воскресают две совершенно разные картины. В одной я вижу очень светлые комнаты, с массой гостей, с зелеными карточными столами, с роялем, за которым играют, поют... Из всех деталей этого великолепия яснее всего я помню большие подносы с конфетами и себя, крошечную девочку, в нарядном платье, с рыжими локонами, всегда за руку со своей няней Софьюшкой, которая подводит меня то к одному гостю, то к другому и, наклоняясь, шепчет:

- Целуй ручку у бабушки, сделай реверанс дяденьке, теперь иди попрощаться с папенькой и с маменькой.

Отца я всегда находила за карточным столом и, нисколько не боясь, дергала его за рукав до тех пор, пока он оставлял карты, поднимал меня на руки, целовал и всегда, несмотря на восклицание няни: "Барыня приказали не давать им вина", подносил мне свой стакан, такой тонкий, красивый, широкий, как чашка, из которого я с опаской и все-таки с восхищением отхлебывала шампанского, коньяку с лимонадом или теплого глинтвейна, смотря по тому, что пил в это время отец.

- Стыдно, Наденька, - говорила няня, утирая мне рот, - матушка не велит, а вы (По приказанию матери няня всегда говорила нам, детям, "вы", мы родителям говорили тоже "вы", а всей прислуге - "ты"). (Прим. автора.) все свое...

Но я целовала няню Софьюшку, которую обожала всем своим детским сердцем, и мы шли дальше отыскивать мать.

Ее мы находили в том зале, где пели и танцевали. Она всегда была окружена офицерами, и я невольно пятилась, замедляла шаги и только подталкиваемая ласковой рукой няни решалась пройти сквозь эту группу нарядных гостей и под сухим, строгим взглядом матери делала как можно грациознее реверанс и шептала: "Bonne nuit, chXre maman!" (Доброй ночи, дорогая мама!)

Правая рука матери, тонкая, надушенная, покрытая кольцами, протягивалась мне для поцелуя, из левой я получала всегда конфету или яблоко. Зная, что на этом все и кончается, я почти бегом пускалась прочь из зала.

Вторая картина рисует мне большую полутемную кухню, теплую, чистую. Должно быть, днем, во время стирки, меня в кухню не пускали, потому что я никогда не помню огня в плите и пара над кастрюлями и сковородками; я помню кухню всегда вечером при свете двух "пальмовых" свечей, стоящих на громадном кухонном столе. Себя я вижу всегда сидящей на этом же столе. Я представляю себя неотъемлемой, постоянной принадлежностью кухни; моя няня тут же возле меня сидит на табурете, чинит, шьет или вырезает мне из старых карт лошадей, кукол, сани, мебель. Возле меня, на столе же, но на байковом старом одеяле (чтобы все-таки не пачкать стол), всегда сидит или лежит мохнатая длинноухая Душка - собака, родившаяся в один день со мною, выросшая почти в моей колыбели и потому безраздельно отданная в мое владение.

Эта Душка всегда сопровождала меня и, вопреки новейшим теориям о кокках и микробах, лизала все мои детские ссадины, царапины и ожоги и пила мои слезы, вызванные обидой или гневом.

Пришлый элемент в кухне составляли мои братья. Я была четвертый ребенок в семье, но первая дочь; братья были гораздо старше меня, но погодки между собой. Старший - красавец Андрей, брюнет, с цыганским типом лица, вспыльчивый, почти жестокий в своих играх - требовал всегда во всем абсолютного себе

подчинения и главной роли. Два младшие брата - Ипполит и Федор - близнецы, составлявшие совершеннейший контраст между собою, беспрекословно подчинялись ему во всем не только в детстве, но и позже, когда все трое были уже офицерами. Не знаю, под влиянием отца и матери или сам Андрей сумел так высоко поставить свое первородство, но только мы безмолвно признавали его и покорялись ему до тех пор, пока судьба не разбросала нас по свету и не поставила между нами непреодолимую, чисто географическую преграду - расстояние.

Ипполит, худенький, подвижный блондин, с пылкой фантазией в играх, задира и трус, чаще всех вызывал гнев матери и расплачивался не только за себя, но и за нас всех.

Когда я вспоминаю наше давно прошедшее детство, теперь, когда уже ни отца, ни матери, ни брата Андрея, ни Ипполита нет в живых, мне становится горько именно потому, что в этих встающих передо мною картинах детства слезы, розги, сцены необыкновенной вспыльчивости матери - все падало на белокурую голову худенького, светливого, но, в сущности, доброго и милого мальчика, каким был Ипполит.

Третий брат, Федор, был необыкновенно толст и неповоротлив; он вел себя примерно, ел много и в девять лет все еще держался за юбку своей няни Марфуши, уроженки Архангельской губернии. Марфуша обожала его, защищала от всех, как коршун своего птенца, и нередко вступала чуть не в рукопашную с обидчиками ее любимца "Хведюшки". Она собственноручно сшила ему халат и ермолочку, в которых он, на всеобщую потеху, и щеголял по утрам и вечерам. Не только у Андрюши, одиннадцатилетнего мальчика, но и у Ипполита няnek уже не было, но Федор надолго сохранил свою. Уже кадетом, прибегая домой по субботам, прежде всего он отыскивал няню и кидался в объятия своей Марфуши, целовал ее лицо, руки, а та, дрожа и захлебываясь от слез, поглаживала его по спине и проклониала "аспидов", изводящих ребенка.

Братья в нашей кухне, как я уже сказала, представляли пришлый и нежеланный элемент; Андрей и Ипполит врывались туда с шумом, гамом, требованиями и немедленно изгонялись обратно в комнаты, к своей гувернантке, или та сама являлась за ними на кухню и уводила. Федя же, опять-таки не знаю вследствие каких соображений, не разлучался с няней Марфушей и потому часто появлялся на кухне вместе с ней; она подсаживалась к свече и тоже принималась за какую-нибудь работу. Федя примазывался на другой табурет и мирно играл со мною, причем обыкновенно уважал мои капризы и требования.

Стол, на котором я сидела, собственно, был крышей большого ящика для кур, стены его были решетчатые, пол усыпан песком, и на сделанных внутри жердочках спали несколько кур и большой красноперый петух. Изредка их движения во сне, какой-то неясный шорох или тихое хлопанье крыльев придавали полутемной кухне особую таинственность, что-то невидимое копошилось подо мной, и иногда с бьющимся сердцем я, бросив игрушки, прислушивалась и шепотом спрашивала няню:

- Нянечка, это кто так делает: крха-крхум?
- Петух, родная; бредит, должно, во сне...
- О чем он бредит, няня?
- О деревне небось: там хорошо, привольно, не то что в клетке!
- А в деревне хорошо, няня?

- И-их, как хорошо, сударыня вы моя! Зимой теперь посадки (посиделки) идут у нас, девки в одну избу понабьются, прядут, песни поют, хохочут, парни в гости найдут, семячек принесут, жамок... Опять свадьбы теперь играют... хорошо-о...

И няня, крепостная бабушки, доставшаяся моей матери в приданое, бросала работу и уставляла глаза в угол кухни. Сколько я ее помню, она всегда тосковала о своей деревне, хотя, взятая оттуда десяти лет, более уже не покидала Петербурга и свою дочь, родившуюся у нас, отдала впоследствии в модный магазин и вырастила полубарышней, не имевшей понятия о крестьянской жизни...

Посреди кухни была самая таинственная и привлекательная вещь: большое железное кольцо, ввинченное в половицы. Когда за него тянули, в полу мало-помалу открывалась черная четырехугольная дыра и виднелось начало лестницы, но куда она вела - этого я никак не могла понять. Мне объяснили, что это люк, просто люк. В моем детском воображении слово это принимало самые фантастические образы: то мне казалось, что это подземный сад, потому что из него вытаскивали морковь, зеленый лук, огурцы, то, напротив, я думала, что это волшебный пряничный домик, полный сахара, миндаля, орехов и других сладостей. В то же время слово это было полно и ужаса, потому что няня моя, боясь, чтобы я когда-нибудь не полезла туда вслед за нею, уверяла, что там живет громадная семихвостая крыса, которая схватит меня, если только я наклонюсь вниз, в открытый люк.

Когда мне было пять лет и воображение мое настолько развилось, что я могла давать оценку разным явлениям, то я часто свой страх или восхищение выражала одним словом - "люк". Я говорила: "черно, как люк; страшно, как в люке", или: "так много, много всего хорошего, точно наш люк!"

Во время вечерних сидений в кухне никогда не обходилось без того, чтобы няня не говорила Марфуше:

- Подержи детей, я слезаю в люк достать им гостинца.

И вот, с замиранием сердца, обхватив руками Душку, я ждала, когда скрипнет подъемная дверь, которую няня тянула за железное кольцо, откроется черная громадная пасть, в которой мало-помалу исчезала фигура няни со свечой в руке. Мысль о семихвостой крысе, о громадном страшном подземелье какими-то бесформенными видениями носилась в моем воображении, и я не спускала глаз с люка до тех пор, пока темнота в нем не начинала снова розоветь и из нее не выплывала наконец фигура няни, несшей на этот раз, кроме свечи, еще и решето, в котором были разные вкусные вещи.

Что думал в то время брат Федя, я не знаю, но мне кажется, что он, так же как и я, верил в семихвостую крысу: по крайней мере, его большие голубые глаза выражали такой же ужас, как и мои, и, пока няня находилась в погребке, он сидел тихо, прижавшись к своей Марфуше. Часть лакомств отсылалась в горницы старшим мальчикам, остальное давали нам.

- Няня, крысу видела? - спрашивала я.

- Видела, сударыня, сидит тихо, глазищи большие и семь хвостов шевелятся.

- Няня, она тебя не тронула?

- Нет, нет, голубочка, она только на детей бросается.

- Почему на детей?

- Потому что дети бывают злые, они у нее раз маленьких крысят отняли и утопили; помнишь, как Андриюшенька?..

При воспоминании о том, как брат Андрей, рассердившись на какого-то дикого котенка, притащил его домой и, несмотря на то что котенок, защищаясь, в кровь изодрал ему руки, утопил-таки его в водопроводе, Федя начинает плакать, Марфуша бросается к нему, утирает слезы своим передником и прижимает к груди, шепча:

- Подь, подь ко мне, дитяtko, дай рыльце хвартуком утру, ишь дите сердешное, вспоминать зверства не может.

Я не плачу, но вцепляюсь в мохнатые уши Душки и, глядя в ее круглые добрые глаза, шепотом объясняю ей, что никогда, никогда не обижу ее детей и Андриюше не дам обидеть их, и прошу няню объяснить семихвостой крысе, что я никогда бы не потопила ее детей.

- Вот когда генералом будет мой Хведюшка, - продолжала Марфа, - он тогда задаст нашему черномазому разбойнику. - И она шутя трясет кулаком в сторону Андриюшиной комнаты.

- Ну уж будет Феденька генералом или нет, - вступается няня Софьюшка, - это еще бабушка надвое сказала, а вот что моя Наденька графиней или княгиней будет, это уже верно, ей сам царь двери отопрет, вот как! - И няня, смеясь, целует меня.

После этой фразы, которую моя няня повторяет довольно часто, мы все неизменно пристаем к Софьюшке с расспросами.

## II

Император Николай I отворяет мне дверь. - Нянин рассказ о страшном былом.

- И расскажу, и расскажу, - торжественно повторяет няня, - сто раз буду рассказывать, чтобы барышня моя, как большая вырастет, эту честь помнила.

- А ты небось испужалась? - смеется Марфуша.

- И, Господи! Дня три тряслась, все не верила, что так сойдет...

- Няня, рассказывай, рассказывай, - пристаем мы. И, оделив нас лакомствами, няня начинает:

- Гуляли это мы, Надечке годок был, не больше, она у меня на руках, Душка с нами, а шенок ее, Мумчик, что теперь у дяди Коли живет, у меня в кармане. Уж это мы всегда тогда такие прогулки делали: без щенка ни-ни, лучше и не выноси мою барышню, вся искрится. Вот я и придумала: положу в карман ваты побольше, а потом посажу Мумчика. Он так привык, что, бывало, спит в кармане, пока не придем в сад, ну а потом вынем его да к матке. Она кормит его, играет, а Надечке - потеха. Только нагулялись мы и идем, - и сколько раз нам барин говорил: не ходите днем по парадной швейцарской, ходите другим входом, тем, что в офицерские квартиры ведет. Ну, а на этот раз, как на грех, барышня моя домой запросилась, и я ближайшим ходом да через парадную. Подхожу, а к швейцарской подкатывает какой-то генерал, ну генералов-то мало ли тут мы выдаем, я иду себе, прошла из швейцарской в коридор, а за мною шаги, повернула я голову - вижу, приехавший генерал идет, я себе дальше, а дверь-то к нам в коридор тяжелая. Я посторонилась, думаю: генерал пройдут, я не дам двери захлопнуться и перейму ее. А барышня-то у меня на руках сидит, личиком назад и, слышу, - смеется, ручонками генералу знаки делает, а он - ей, играет, значит, с дитей; только я остановилась и хочу переждать, а он-то смекнул, верно, что дверь тяжелая, шагнул мимо нас, веселый такой, да красивый, да высокий, ну, чистый орел, дверь сам открыл и говорит:

- Проходи, нянюшка.

Я говорю:

- Чтой-то, ваше превосходительство, мы позади. Пожалуйста вы спервоначалу...

А он говорит:

- Нет, ребенок вперед!

И подержал нам дверь... Поблагодарила я его, дура, - спасибо, говорю, ваше превосходительство, - да тут же диву и далась: генерал-то в наш коридор и не пошел, а повернулся от дверей направо - в классы! Думаю, не знает дороги, жаль, не спросила, кого ему, собственно, надо?.. Только подумала, а в коридоре-то как грянет: "ура!", кадеты-то наши все из классов гурьбой вылетели, только топот по всему дому стоном стоял. Как услышала я это... поняла! Поняла моя головушка бедная, что то был сам государь, сам император Николай Павлович. И мне, мне-то, рабе своей последней, двери подержал:

"Ребенок, - говорит, - вперед!" Задрожали у меня колени, просто хоть на пол садись, еле доволоклась до дверей, мимо меня барин наш, Александр Федорович, бегом пробежали, должно, им знать дали, на нас только походя руками замахал.

Господи Ты Боже мой! А за нами-то Душка, а в кармане-то у меня щенок!.. Верите, едва жива, посадила я барышню в кроватку, выложила им в ножки щенка, да сама к барыне бегом, да в ноги, слезами обливаюсь... перепугала барышню-то нашу, она подумала, с дитей что приключилось... рассказала я ей... Что, говорю, мне будет? А барыня-то наша горячая, по щекам меня раза четыре ударила... и поделом! Не велел барин по парадной... вот и наскочила! Я в ножки кланяюсь, молю - не выдайте!.. Думала, разыскивать станут и невесть что сделают... пошла в детскую, за барышней своей ухаживаю и все Богу молось: "Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его"... Вернулся барин... веселый-превеселый: царь-государь в кухню ходил, прямо из котлов кушанье пробовать изволил и всем порядком остался доволен, все похвалил!.. А про меня - ни слова!.. Барыня тут баришу все от себя и рассказала: и как мы шли, и как встретили, и как игрались барышня с государем, и как сам отворил он нам двери и сказал так милостиво:

- Проходи, нянюшка, ребенок - вперед!

И опосля много, много раз меня это рассказывать заставляли, целый год, бывало, как новый гость, так сейчас меня зовут и - рассказывай, да ничего не упуская! И всякий гость, как послушает, так и скажет:

- Ну, твоя барышня далеко пойдет, коли ей сам государь Николай Павлович двери отворял!

- Вот и я говорю, - заканчивала обыкновенно няня, принимаясь меня целовать, - будет моя барышня княгиней, аль графиней, аль еще кем побольше и не забудет свою дуру няньку, так, что ли?

Я обнимала ее, целовала и обещала: никогда, никогда не забуду!

Федя играл со мною вырезанными из карт куклами; мы сажали их в сани, возили на прогулку, сажали за столы, кормили обедом и укладывали спать на кровати за ширмами из карты, сложенной гармоникой. Обе няни шили, изредка перекидываясь словами, Марфуша мурлыкала какую-то песенку. Кухня точно дремала, теплая, тихая; на тяжелых полках блестели ряды медных кастрюль, вытянув в ряд свои прямые ручки, нагоревший фитиль пальмовых свечей бросал временами неверный свет, дрожал, вспыхивал, и мне казалось, что кастрюли виляют хвостиками, их круглые очертания представлялись мне выгнутыми спинами каких-то странных животных, я вдруг поражала няню вопросом:

- Няня, а кастрюли живые?

- Господь над вами, барышня, кастрюли живые? Да ведь они из меди; Марфуша-то небось знает, как их чистят: ее дело!..

- А я видела, как они хвостиками машут!

- Выдумаете тоже, - смеялась Софьюшка, - хвостом машут!.. Что они, прости Господи, ведьмы, что ли?

- Няня, а ты видела ведьму?

- Наше место свято! Зачем ее видеть?.. я так, к слову... довольно того, что я вашего дедушку видела, вот уж не к ночи будь помянут!..

История о дедушке, богатом помещике, над которым была учреждена опека "за жестокое обращение\*", жила в нашей семье, как страшная легенда о человеческих зверствах и распущенности. Бабушку, жену его, все уважали и любили; она, к ее счастью, овдовела еще молодая и получила немедленно казенное место начальницы института; единственный сын ее, дядя Коля, воспитывался в лицее,

а дочь (моя мать) вышла замуж по любви за молодого полковника, который бросил военную службу и принял место, как тогда говорили, "доходное", чтобы содержать прилично свою молодую красавицу жену. С самого детства и до моего замужества, то есть до самой кончины моей дорогой бабушки, баронессы Доротеи Германовны Фейцер-Фр\*к, я слышала отрывки из истории жизни моего деда, и, когда разрозненные звенья эпизодов наконец связались в моем сознании в одну страшную, мрачную картину, я пожалела тех, чья жизнь невольно переплелась с жизнью этого человека, - пожалела и его самого, потому что на него смотрели как на чудовище, а это был просто душевнобольной, может быть, даже родившийся психически ненормальным, место которого было скорее в сумасшедшем доме, чем в обществе.

- Няня, дедушка был очень злой?

- Ох, родная моя барышня, волк лютый, что в стадо бросается и овец терзает, добрей дединьки вашего! Он все-таки, коли насытитесь, лютовать не будет, а тому ни день, ни ночь, ни час, ни срок отдыха не было!

- И тебя он бил?

- Меня? Не то что бил, а убил бы, да хуже того, несчастной сделал бы, кабы не бабушка ваша, барыня моя старая, Дарья Германовна; любила она меня за то, что родилась я вместе с сыном ихним Александрушкой, который теперь уже помер; мать моя и выкормила его... Большой грех за меня на душу старая барыня в те поры приняла, а только без этого не спасти бы ей меня и не быть мне в живых. Было мне тогда годков восемь, не более, девчонка я была здоровая, бойкая да румяная, дедушка-то ваш, уезжая как-то в Питер по делам, и сказал бабушке: как вернусь, так Соньку приставлю к себе трубку закуривать. Ничего ему не ответила Дарья Германовна, а только как уехал он, меня она ночью с отцом моим выслала верст за сорок, в другую деревню, где подруга ее замужем была, а на другой день вышла моя мать со слезами да всем и объяснила, что больна я и в барынной комнате лежу. И дня через три гроб сколотили, чурбашку туда положили и в могилку зарыли, даже поп отпел. Приехал недели через две старый барин, и ни один человек ему не выдал, что у нас тут было, кто и знал, так за барыню стоял. Знали, что не меня одну, а всякого, кого могла, спасала она от лютоści мужа своего. Так я два года и прожила в чужой деревне, у чужой барыни, а тем временем много делов совершилось: бабушка ваша, Дарья Германовна, в столицу сбежала, до самой царицы матушки дошла, дело разбирали, дедушку имения всего лишили и тем самым так рассердили его, что он и умер.

Детский ум мой, не умеющий разбираться в значении фактов и схватывающий только слова, становится в тупик, конечно, под впечатлением известия о бегстве бабушки.

- Как убежала? - спрашивала я. - Далеко убежала? Устала она?

- А вот как убежала! Маменька моя мне все это потом рассказывала. Кроме дяденьки, Николая Дмитриевича, как я вам сказала, был еще жив и Александр Дмитриевич! Дедушка ваш черноволосый, что цыган был, Андриюшенька наш весь в него вышел, и Дарья Германовна темноволосая, и маменька ваша, и братец ихний, Николай Дмитриевич, а Сашенька - ведь вот поди ж ты! - в мае родился и что цветочек полевой: весь светлый, волосы желтые, глаза голубые - ровно херувим, и кротости безмерной. Отец-то его, зверь, и говорит: старший сын - а не в меня и не в мою породу! Я, говорит, отучу его за юбки-то прятаться.